**Жив ли сегодня Маяковский? Есть ли понимающий и любящий его поэзию читатель?**

**У произведений искусства самостоятельная жизнь: они устаревают, оказываются забытыми, умирают или, намного пережив своего создателя, становятся живыми современниками новых и новых поколений. Судьба литературного произведения зависит от читателя, оно живёт в его восприятии, роль читателя “сотворческая”. Мандельштам писал, что “читать стихи — величайшее и труднейшее искусство, и звание читателя не менее почтенно, чем звание поэта” (“Армия поэтов”, 1923).**

**Сегодняшнее восприятие Маяковского во многом определяется тем, как читались его стихи в течение семи десятилетий, истекших после смерти их автора. Многие его произведения несут на себе печать пропагандистских формул, расхожих газетных определений, они словно бы вобрали в себя что-то от скучнейших характеристик из школьных учебников, от обязательных стандартных вопросов в экзаменационных билетах. Сейчас первостепенная задача в изучении Маяковского — прочесть его освобождённым от казённого “хрестоматийного глянца”, от очевидных искажений   
и намеренных передёргиваний.**

***Непростой и трудной была творческая судьба Маяковского.*** Его громкая слава в ранний период творчества сопровождалась скандалами. В советское время он, несмотря на огромную популярность, постоянно подвергался нападкам: его попрекали тем, что он непонятен широким массам, рапповцы высокомерно зачисляли его в “попутчики”, на него при жизни обрушивалась волна резко критических, а иногда желчных, издевательских статей (А.Горнфельда, Г.Шенгели, К.Зелинского, Д.Тальникова, В.Ермилова – в России, В.Ходасевича – за рубежом). После гибели поэта, выступая в 1934 году на I съезде писателей, Бухарин сказал, что “время агитки в стиле Маяковского прошло”.

Но поистине роковым для поэтической судьбы Маяковского стало знаменитое высказывание о нём Сталина. На письме Лили Брик (она жаловалась на то, что Маяковского не издают, всячески замалчивают) Сталин начертал: “...Маяковский был и остаётся лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление”. Эти слова Сталина определили трагическую посмертную судьбу поэзии Маяковского. Поэта канонизировали, причислили к неприкасаемым. “Маяковского стали вводить, как картошку при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он не повинен”, – писал Пастернак в 1956 году (“Люди и положения”).

Был создан миф Маяковского, утвердилась официальная концепция его творчества, отступления от которой грозили исследователям самыми серьёзными неприятностями. Согласно этой концепции, раннее, дореволюционное творчество поэта было ущербным: он отдал дань пессимизму, индивидуализму, футуризму. Настоящий, правильный Маяковский начинается только после 1917 года, когда он освобождается от всех этих пороков и становится ясным, бодрым, жизнеутверждающим певцом социалистической нови. “Всякие прямые или косвенные попытки отождествить Маяковского с футуристами, противопоставляя его поэзию классической, не имеют ничего общего с исторической правдой”, – грозно предупреждал центральный орган партии журнал “Коммунист” (1953, № 10). В школьных и вузовских учебниках и программах, в псевдонаучных “исследованиях”, в популярных критических очерках Маяковского превращали в громогласного певца и бездумного пропагандиста советского режима. “Рождённый Великой Октябрьской революцией, Маяковский был и остаётся великим глашатаем социалистической эпохи... наряду с Горьким является новым, эпохальным типом писателя”, – говорится в послесловии к Полному собранию сочинений поэта 1973 года.

Возведённый Сталиным на самый высокий государственный пьедестал, Маяковский неправомерно заслонил других замечательных поэтов – своих современников. В течение нескольких десятилетий его печатали миллионными тиражами, постоянно к месту и не к месту цитировали, изучали как непревзойдённого классика, а их замалчивали, не печатали, запрещали, уничтожали физически. Гумилёва и Клюева расстреляли, Мандельштам погиб в лагере, покончили с собой Есенин и Цветаева, тяжёлой была участь Ахматовой, затравили после Нобелевской премии за роман “Доктор Живаго” Пастернака. Превращение Маяковского в официального, государственного поэта, в “барабанщика пролетарской революции”, как назвал его Бухарин, отталкивало, оттолкнуло многих читателей.

***В 90-е годы, когда стал рассеиваться туман советской идеологии,*** когда наши критика и литературоведение стали освобождаться от запретов и штампов, начала выстраиваться реальная история русской литературы XX века. Наступила пора переоценок. Изменилось отношение и к Маяковскому. Маятник резко качнулся в противоположную сторону. Маяковского стали развенчивать, разоблачать, попытались даже вообще вычеркнуть из истории русской литературы. Сгоряча его исключили из некоторых антологий и учебных пособий. Нет Маяковского в “Антологии русской поэзии и прозы XX века”, изданной в 1994 году в помощь учащимся 11-го класса (составители Г.Гольдштейн и Н.Орлова). В книге В.С. Баевского “История русской поэзии” (Смоленск, 1994), в которой, по словам автора, “внимание привлекается в первую очередь к новым явлениям в стиле, языке, стихе, способах организации образов”, поскольку “история русской поэзии – это история новаторства русских поэтов”, главы о Маяковском нет. Нет Маяковского и в разделе “Футуристы” в выпущенном в 1997 году под редакцией В.В. Агеносова учебном пособии для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий “Русская литература серебряного века”. Есть Северянин и Хлебников, а Маяковского нет...

Пересмотр официозной советской концепции творчества Маяковского был в принципе необходим и неизбежен. Среди критических статей и высказываний последнего времени о Маяковском выделяется талантливая, страстная, с множеством проницательных и точных наблюдений книга Юрия Карабчиевского “Воскресение Маяковского”, написанная в 1980--1983 годах и изданная у нас только в 1990-м. Книга беспощадная и во многом несправедливая. Это была работа серьёзная, за которой, однако, последовало немало выступлений пристрастных, залихватских, злобных и просто глупых, внимания не заслуживающих. Как это нередко бывает, устанавливалась новая “мода”, вызвавшая отвращение и у Карабчиевского. Дружившая с ним поэтесса Лариса Миллер вспоминает: “Я не раз слышала от него: “Мне теперь всё меньше нравятся те, кому нравится мой Маяковский”.

Сразу же надо заметить, что Карабчиевский (впрочем, как и некоторые другие серьёзные современные литераторы, пишущие о Маяковском) признаёт, что он был истинным поэтом, замечательно одарённым, что “его вершина... выше многих соседних вершин и видна с большого расстояния”.

***В чём же видят сегодняшние критики ущербность Маяковского?*** Главным образом в том, что он человек, “лишённый нравственного слуха”. В статье “Не мир, но миф” поэт В.Корнилов пишет о Маяковском: “В его строках бездна поэтического электричества (потому и велик), но другое дело – к чему он это электричество подключал...” Некоторые из высказываемых претензий к Маяковскому, к сожалению, не лишены оснований. Не всё, что ставится поэту в вину, можно опровергнуть, но многое можно объяснить, включая его творчество в контекст времени.

Сегодняшние критики Маяковского видят нравственный порок поэта в том, что его мировосприятие не гармонично, что он не преодолевает хаос, а насаждает его, что не гуманное отношение к человеку, а призыв к насилию – пафос его творчества. Неприятие враждебного ему мира выражается у Маяковского в яростных призывах к глобальному разрушению, уничтожению установлений жизни, доходит до базаровского нигилистического требования “место расчистить”.

Такого рода обвинения звучали и при жизни поэта. А.Горнфельд писал, что Маяковский “способен на разрушение, но даже в мысли не способен на общественное созидание” (“Боевые отклики на мирные темы”, 1924). О том, что творчество Маяковского не конструктивно, что ему присущ “пафос футуристического разрушительства”, говорил в 1929 году К.Зелинский в статье “Идти ли нам с Маяковским?”.

В этом же духе писали и эмигрантские критики. “Я помню его первые выступления в 1912–1913 годах, – рассказывал Г.Адамович, – уже тогда была в нём та ненависть... желание всё стереть до основания, всё сровнять с землёй. Пройтись Мамаем по миру...” (“Маяковский”. Париж, 1925). “Пафос погрома и мордобоя – вот истинный пафос Маяковского”, – заявлял В.Ходасевич в пристрастной, желчной статье под названием “Декольтированная лошадь” (Париж, 1927).

Карабчиевский начинает свои разоблачения Маяковского тоже с утверждения, что у поэта “была удивительная способность к ненависти”. Он пишет: “К семнадцатому году молодой Маяковский оказался единственным из известных поэтов, у которого не просто темой и поводом, но самим материалом стиха, его фактурой были кровь и насилие”. Эти мысли Карабчиевского повторяются в книге Л.Аннинского “Серебро и чернь” (1997). В главе, посвящённой Маяковскому, говорится, что его лирический герой – “гунн”, “фат”, “мот”, “издевающийся насильник”. “Его отношения с миром – блуд, глум, драка и вызов. Другого подхода мир не понимает”. Он, по словам Аннинского, “порождение того хаоса, который его мучает и который доведён в стихах до предела, до абсурда”.

Все эти характеристики не беспочвенны. Раннему Маяковскому присущ дух отрицания современной жизни, враждебного поэту мира. Отрицание у него приобретает абсолютный, космический характер, это протест против всего миропорядка. В 1915 году в поэме “Облако в штанах” он демонстративно, вызывающе заявлял о своём нигилизме:

*Я над всем, что сделано,  
ставлю “nihil”.*

*Никогда  
ничего не хочу читать.  
Книги?  
Что книги!*

Да, Маяковский призывал разрушать. Сам он определял содержание “Облака” как крики “долой!”: “долой вашу любовь”, “долой ваше искусство”, “долой ваш строй”, “долой вашу религию” (Предисловие ко второму изданию поэмы, 1918). Шокирует яростный призыв в поэме:

*Выньте, гулящие, руки из брюк –  
берите камень, нож или бомбу,  
а если у которого нету рук –  
пришёл чтоб и бился лбом бы!*

*...Идите!  
Понедельники и вторники  
окрасим кровью в праздники!*

Конечно, в позиции Маяковского, в его призывах крушить и разрушать был вызов, явное стремление ошеломить, эпатировать читателей и слушателей. Этого нельзя не учитывать. Но чтобы понять, как мог молодой поэт написать столь страшные слова, как могли прозвучать столь жестокие призывы, надо прежде всего рассмотреть произведения Маяковского в историческом контексте. Был ли он, как утверждает Карабчиевский, “единственным”?

***Лидия Гинзбург в книге “Человек за письменным столом”,*** говоря о мироощущении русской интеллигенции на рубеже веков и в эпоху революции и процитировав строки Маяковского:

*Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,  
как у каждого порядочного праздника –  
выше вздымайте, фонарные столбы,  
окровавленные туши лабазников, –*

замечает: “Маяковский, считавший Блока хлипким интеллигентом, не знал блоковского чернового наброска 1907 года:

*И мы подымем их на вилы,  
Мы в петлях раскачнём тела,  
Чтоб лопнули на шее жилы,  
Чтоб кровь проклятая текла.*

Так среди снежных метелей Блока 900-х годов явственно маячил хороший Пугачёв”.

Действительно, в романтической лирике Блока звучит “восторг мятежа”. И не было неожиданностью возникшее в 1918 году в “Скифах” лирическое “мы”: Блок говорит от имени России, включая и себя в общий поток революционного движения. Отнюдь не гуманностью дышат его строки. А в угрозах “старому миру” слышится торжествующая патетика:

Вот – срок настал. Крылами бьёт беда,

И каждый день обиды множит,

И день придёт – не будет и следа

От ваших Пестумов, быть может!

...Мы поглядим, как смертный бой кипит,

Своими узкими глазами!

Не сдвинемся, когда свирепый гунн

В карманах трупов будет шарить,

Жечь города, и в церковь гнать табун,

И мясо белых братьев жарить!

Лидия Гинзбург вспоминает, что Анна Ахматова “с оттенком удовольствия” рассказывала: “Моя мать очень любила говорить про какой-то кружок. Выяснилось потом, что этот кружок – Народная воля. Мама очень гордилась, что как-то дала Вере Фигнер какую-то свою кофточку – это нужно было для конспирации...” “От самых неподходящих как будто людей протягивались связующие нити, и не к каким-нибудь там реформаторам, а прямо к бомбометателям”, – заключает Гинзбург. По её словам, у Пастернака в “Высокой болезни” (1924) “запечатлён человек среды, той самой, которая твердила наизусть декадентские стихи, поклонялась Софье Перовской и допускала, что Пугачёв – это тоже правильно!”

***В позиции Маяковского, в его призывах, в его интонации*** проявилась издавна, с XIX века, проникшая в сознание интеллигенции готовность принять революцию со всем тем тяжёлым и страшным, что она может нести. Как декадентский мотив, готовность принять даже гибель культуры, даже собственную гибель прозвучала в 1905 году в стихотворении Валерия Брюсова “Грядущие гунны”:

*Бесследно всё сгибнет, быть может,  
Что ведомо было одним нам,  
Но вас, кто меня уничтожит,  
Встречаю приветственным гимном.*

Конечно, то, что современный читатель чувствует иезуитский характер идеи о некоем социалистическом гуманизме (как утверждалось, самом высоком, единственно истинном), включающем в себя жестокую, беспощадную борьбу, – идею, жившую в сознании русской революционно настроенной интеллигенции, то, что он отвергает эту идею, говорит о нравственном выздоровлении общества.

Но если говорить о пафосе творчества Маяковского, то является ли на самом деле главным содержанием его поэзии проповедь ненависти, жестокости, убийства? Те, кто это утверждает, опираются на предвзято выхваченные из текста строфы, строки. Ряд таких цитат подбирает и выстраивает Ю.Карабчиевский, следом за ним Л.Аннинский. Ведёт ли такой подход к истине, ведь даже у Пушкина можно выискать строки, в которых вовсе не звучит “лелеющая душу гуманность”. Вот несколько примеров – число их без труда можно существенно увеличить:

|  |
| --- |
| *Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, Твою погибель, смерть детей С жестокой радостию вижу.* |
| (Ода “Вольность”, 1817) |
| *Свободы тайный страж, карающий кинжал. Последний судия позора и обиды.* | |
| (“Кинжал”, 1821) | |

|  |  |
| --- | --- |
| *Ужель надежды луч исчез? Но нет! – мы счастьем насладимся, Кровавой чашей причастимся – И я скажу: “Христос воскрес”.* | |
| (“В.Л. Давыдову”, 1821) | |
| *О славный час! о славный вид! ...Убийством тупятся мечи, И падшими вся степь покрылась, Как роем чёрной саранчи.* |
| (“Полтава”, 1828) |

|  |
| --- |
| *Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю... Восславим царствие Чумы. Итак, – хвала тебе, Чума!* |
| (“Пир по время чумы”, 1830) |

Вырвав строки из контекста произведений, отделив их от реального исторического времени, обстоятельств жизни поэта, можно таким образом представить совершенно в ложном свете даже истинно гуманную поэзию Пушкина.

Неверно, что пафос творчества Маяковского в ненависти, в жажде насилия и социальной мести. Выстроенному Карабчиевским и Аннинским ряду цитат можно без труда противопоставить ряд цитат прямо противоположного смысла, проигнорированных ими. Вот строки, в которых звучат любовь и сочувствие к людям, нежность, тоска по человеческому слову, горечь одиночества, беззащитность в мире жестокости и равнодушия – они говорят о душе легкоранимой:

|  |  |
| --- | --- |
| *Но мне – люди, и те, что обидели – вы мне всего дороже и ближе.*  *Но мне – люди, и те, что обидели – вы мне всего дороже и ближе.*  *...я – где боль, везде; на каждой капле слёзовой течи распял себя на кресте.*  *...Значит – опять темно и понуро сердце возьму, слезами окапав, нести, как собака, которая в конуру несёт перееханную поездом лапу.* | |
| (“Облако в штанах”, 1915) | |
| *...всё, чем владеет моя душа... ...всё это – хотите? – сейчас отдам за одно только слово ласковое, человечье.* |
| (“Дешёвая распродажа”, 1916) |

|  |
| --- |
| *И только  боль моя острей – стою, огнём обвит, на несгорающем костре немыслимой любви.* |
| (“Человек”, 1916--1917) |
| *Подошёл и вижу глаза лошадиные...*  *Улица опрокинулась, течёт по-своему...*  *Подошёл и вижу – за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти...*  *И какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня и расплылась в шелесте.* | |
| (“Хорошее отношение к лошадям”, 1918) | |

|  |
| --- |
| У лет на мосту  на презренье,  на смех,  земной любви искупителем значась,  должен стоять,  стою за всех,  за всех расплачусь,  за всех расплачусь...  И так я калека в любовном боленьи.  Для ваших оставьте помоев ушат.  Я вам не мешаю.  К чему оскорбленья!  Я только стих,  я только душа. |
| (“Про это”, 1923) |

Ницшеанское самоутверждение, свойственное раннему Маяковскому, корректируется, перекрывается живой, острой болью, рождённой несовершенством мира, тоской по человечности, по взаимной любви, по идеалу.

Карабчиевский пишет: “Если “жестокие” стихи Маяковского – это “пресловутый эпатаж, что по-русски означает неправду”, то и “добрые” стихи – тоже неправда. Это неверно, это явная натяжка. Читатель не может не чувствовать истинного лиризма, проникновенности, искренности строк Маяковского, в которых выражены любовь и сострадание, одиночество и надежда на понимание”. О подлинности, о силе лиризма Маяковского писал Пастернак в “Охранной грамоте” (1930). Для него Маяковский – “поэт с захватывающе крупным самосознанием, дальше всех зашедший в обнажении лирической стихии и со средневековой смелостью сблизивший её с темой...”

***О тсутствие “нравственного слуха” у Маяковского*** связывают с его безоговорочным принятием и восторженным воспеванием революции. Но надо иметь в виду, что его отношение к революции было совершенно органичным не только потому, что его раннее творчество носило протестный, бунтарский характер, но и потому, что он ждал революцию, верил в неё. Об искренности отношения Маяковского к революции справедливо писала Марина Цветаева: “Маяковский не только не прислуживался к революции, а он сидел за неё в тюрьме гимназистом 16-ти лет” (“Неизданное. Сводные тетради”). Маяковского нельзя выключать из общего литературного потока, из конкретной исторической ситуации, он в отношении к революции не был “единственным”, резко и принципиально отличавшимся от других крупных поэтов. Значительная часть русской интеллигенции восприняла революцию как трудный, трагический, но ожидаемый и необходимый поворот истории. В восприятии Мандельштама – это сдвиг всемирно-исторического, даже космического масштаба. В 1918 году он писал:

|  |
| --- |
| *Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля. Земля плывёт. Мужайтесь, мужи, Как плугом океан деля. Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам стоила земля.* |
| (“Прославим, братья, сумерки свободы...”) |

Вопрос о задачах революции, об участии в ней был для интеллигенции чрезвычайно важен. Многие верили в справедливость, даже святость её целей. Революционный поток, гул которого, по словам Блока, “всё равно, всегда – о великом”, был очень мощным, властно увлекал за собой.

Есенин драматически – как отщепенство – воспринимал свою “неслитность” с этим потоком. Он писал в 1924 году:

|  |
| --- |
| *Какой скандал! Какой большой скандал! Я очутился в узком промежутке.* |
| (“Русь уходящая”) |

О своей верности демократическим идеалам – традиционной для русской интеллигенции – заявлял Мандельштам в стихотворении “1 января 1924”:

*Ужели я предам позорному злословью –  
Вновь пахнет яблоком мороз –  
Присягу чудную четвёртому сословью  
И клятвы крупные до слёз?*

По сути, присягой “четвёртому сословью” были и написанные Маяковским в том же 1924 году строки:

Я

всю свою

звонкую силу поэта

тебе отдаю,

атакующий класс.

Клятвы в верности народу были священны для русской интеллигенции со времени юношеского послания Пушкина Чаадаеву, со времени символической клятвы, которую дали Герцен и Огарёв. Этот чистый восторг самоотверженности, питавший русскую поэзию, имеет в виду Мандельштам, когда пишет: “Конечно, Герцен и Огарёв, когда стояли мальчиками на Воробьёвых горах, испытывали физиологически священный восторг пространства и птичьего полёта” (“Заметки о поэзии”). Этот “священный восторг” питает и поэзию Маяковского, заряжая могучей поэтической энергией лучшие его строки.

***В годы революции ещё была жива идея великой социальной Утопии.*** Маяковский страстно верил в неё, так же как и прославленные нынче художники русского авангарда (К.Малевич, В.Кандинский, Н.Гончарова, М.Ларионов, А.Экстер, О.Розанова и другие), как замечательные режиссёры (С.Эйзенштейн, В.Мейерхольд), как талантливые писатели (А.Платонов, И.Бабель), он стремился принять участие в её осуществлении. Но вскоре после революции стало ясно, что власти не одобряют бунтующее, не признающее авторитетов искусство авангарда.

Все послереволюционные годы Маяковский подвергался резкой критике с позиций официальной ортодоксии. В.Шкловский вспоминает, как он видел Маяковского в последний раз – это было в Доме писателей перед заседанием РАППа, на котором поэта, считавшегося “попутчиком”, должны были принимать в эту организацию: “Прошёл один человек, другой прошёл. Были они с портфелями... Прошёл низкорослый человек с голым черепом, обтянутым бледной кожей. Нёс он рыжий, блестящий портфель. Человек очень торопился: Маяковского шёл перевоспитывать”.

Главное обвинение, предъявляемое сегодня Маяковскому, состоит в том, что он стал пропагандистом тоталитарного режима, агитатором за советскую власть, что он участвовал в создании мифа о Советском Союзе как самой передовой стране мира.

Справедливо ли утверждение о полном совпадении Маяковского и идеологов социалистического строя? Прав ли Карабчиевский, изобличая Маяковского “в полном его соответствии той общественной системе, которой он столь верно служил”? Как ни странно, он, в сущности, повторяет советский миф о Маяковском – “барабанщике революции”.

***В основе антинаучной, попиравшей историзм официальной трактовки жизни и творчества Маяковского*** был подлог. Произведения Маяковского, написанные в 20-е годы и отразившие именно это время, ещё не схлынувшую революционную волну, переадресовывались более поздней эпохе. В нашей же истории разница между 20-ми и 30-ми годами была существенной. 1929 год действительно знаменовал собой великий трагический перелом всей жизни. Канонизация же Маяковского началась после известного указания Сталина в 1936 году, его поэзия стала использоваться для воспевания сталинского режима, принёсшего насильственную коллективизацию, разорение села, голод, массовые репрессии.

Контекст времени всегда важен для верного понимания поэзии. Можно ли, например, известное стихотворение Марины Цветаевой о генералах “минувших лет” – героях Отечественной войны 1812 года переадресовать генералам – сподвижникам Муравьёва-вешателя, подавлявшим польское восстание? В 20-е годы поэма “Хорошо!”, стихотворения “Чудеса”, “Мы”, “Американцы удивляются”, “Рассказ о Кузнецкстрое”, “Товарищу Нетте” звучали не так, как в последующие десятилетия, они рождены были искренней верой в возможность обновления жизни, преображения мира, в торжество справедливости и человечности. Вера эта вдохновляла в то время многих честных и талантливых художников. Начиная же с 30-х годов страна всё больше и больше погружается “в атмосферу регламентированного маскарада: нищета являет себя в образе всеобщего изобилия, страх и отчаяние – в виде безудержной радости, тираны – в образе мудрых человеколюбцев и т.д. Мы жили в нарисованном мире” (Миримов В. Русский авангард и эстетическая революция XX века. М., 1995). Маяковского с его бунтарством, с его независимостью, с его ненавистью к конформизму и бюрократизму во всех видах и проявлениях, с его смелым новаторством идеологические власти старались использовать для политической и эстетической демагогии, для создания “нарисованного мира”. Но для этого приходилось его препарировать, выдирать отдельные строки из иронического контекста, чтобы они звучали патетически, кое-что выбрасывать. Из поэмы “Владимир Ильич Ленин” выброшены были, например, строфы о ненависти поэта к культу вождя:

Если б

был он

царствен и божествен,

Я б

от ярости

себя не поберёг,

Я бы

стал бы

в перекоре шествий,

поклонениям

и толпам поперёк.

Я б

нашёл

слова

проклятья громоустого,

и пока растоптан я

и выкрик мой,

я бросал бы

в небо

богохульства,

по Кремлю бы

бомбами метал:

долой!

Под подозрением, не в чести у идеологических властей была сатира Маяковского. А по мере укрепления и развития советской системы сатира Маяковского усиливается, углубляется. Маяковский издевается не над частностями, высмеивает отнюдь не мелочи. Не прав был В.Ходасевич, когда в 1927 году писал, что Маяковский критикует “маленькие недостатки механизма”. Сатира поэта нацелена на самые существенные стороны советской действительности. Видимо, в конце 20-х годов Маяковский почувствовал опасные, тревожные тенденции в общепринятом проекте будущего. Пьесы “Клоп” и “Баня”, написанные в 1928 и 1929 годах, поставили Маяковского-сатирика в один ряд с М.Булгаковым, М.Зощенко, Н.Эрдманом. В повести Булгакова “Дьяволиада” изображены те же “бумажные ужасы” советской бюрократии, что и в “Бане” и многих стихах Маяковского. “Клоп” перекликается с “Собачьим сердцем” Булгакова, с “Мандатом” Эрдмана, с рассказами Зощенко. Картина “развитого” социализма в “Клопе” приобретает явные черты антиутопии, она напоминает тот “рай”, в котором живут герои романа Е.Замятина “Мы”.

И всё-таки и Маяковский несёт ответственность за то, что его творчество идеологи сталинской эпохи и “застойных” времён смогли использовать в своих целях. Недаром Пастернак, не ставивший под сомнение искренность поэзии Маяковского, высоко ценивший его талант, писал с горечью уже в 1922 году:

|  |
| --- |
| *Я знаю, ваш путь неподделен, Но как вас могло занести Под своды таких богаделен На искреннем вашем пути?* |
| (“Маяковскому”) |

В самом деле, большой, самобытный поэт слишком был погружён в заботы суетного дня. Речь идёт о плакатах, рекламе, агитстихах, стихотворениях, написанных для газеты по сиюминутному поводу. Маяковский много, даже демонстративно всем этим занимался. Он пишет о вреде рукопожатий (“Глупая история”), о милиционерах, которые ловят воров (“Стоящим на посту”), о рабочих корреспондентах (“Рабкор”), о снижении цен на товары первой необходимости (“Негритоска Петрова”), о ценах в студенческих столовых (“Дядя Эмэспэо”) и т.д., и т.п. Таких стихотворений у Маяковского много. Это не халтура, написаны все эти стихи мастерски, остроумно, удивляют неожиданными рифмами, блеском каламбуров. Мандельштам высоко оценивал и “газетные” стихи Маяковского, он писал в 1923 году: “Великий реформатор газеты, он оставил глубокий след в поэтическом языке, донельзя упростив синтаксис и указав существительному почётное и первенствующее место в предложении. Сила и меткость языка сближают Маяковского с традиционным балаганным раёшником” (“Буря и натиск”). И всё же Пастернак прав. В остросовременных “газетных” стихах, занимающих большое место в творческом наследии поэта, Маяковскому не удаётся рассказать потомкам “о времени и о себе”, в них нет вечного общечеловеческого смысла, сейчас они совершенно утратили живую силу.

Пушкин, обрушиваясь на чернь, которая требует от поэзии, от поэта сиюминутной практической пользы, задаёт риторический вопрос:

*Во градах ваших с улиц шумных  
Сметают сор, – полезный труд! –  
Но, позабыв своё служенье,  
Алтарь и жертвоприношенье,  
Жрецы ль у вас метлу берут?*

Да, – с полемическим вызовом заявляет Маяковский, – я беру метлу:

*Я с теми, кто вышел  
строить и месть...*

Взяв на себя эту неблагодарную, чуждую поэту обязанность, Маяковский в течение нескольких лет пишет для “Комсомольской правды”, “Известий” стихи на злобу дня, выполняет роль пропагандиста и агитатора. Вычищая во имя светлого будущего “шершавым языком плаката” грязь, Маяковский высмеивает образ “чистого” поэта, воспевающего “розы и грёзы”. Полемически заостряя свою мысль, он пишет в стихотворении “Домой!”:

Не хочу,

чтоб меня, как цветочек с полян,

рвали

после служебных тягот.

Я хочу,

чтоб в дебатах

потел Госплан,

мне давая

задания на год.

Я хочу,

чтоб над мыслью

ремён комиссар

с приказанием нависал...

Я хочу,

чтоб в конце работы

завком

запирал мои губы

замком.

Символический образ поэта с замкнутым ртом у Маяковского оказался трагическим и многозначным. Власть, превращая литературу в идеологическое орудие, в средство воздействия на массовое сознание, одурманивая его, не только пускала в ход запреты и страх, но и эксплуатировала веру, убеждения, готовность служить революции, которые выразил Маяковский в этом стихотворении. Маяковский имел в виду высший долг совести, когда “голосует сердце” и поэт пишет “по мандату долга”. Но эпоха повернулась так, что стихотворение стало звучать как гимн несвободе, оправдание отказа от “творческой воли, тайной свободы” (А.Блок), его можно истолковать как добровольное требование цензуры, идеологического контроля.

***С годами, по мере движения истории, образ этот приобрёл зловещий смысл.*** Образ поэта с замком на губах оказался не только символическим, но и пророческим, высветившим трагические судьбы советских поэтов в последующие десятилетия, в эпоху лагерного насилия, цензурных запретов, замкнутых ртов. Через десять лет после того, как было написано это стихотворение, многие поэты (и их читатели) оказались за колючей проволокой ГУЛАГа за стихи, за свободное слово. Таковы трагические судьбы О.Мандельштама, Б.Корнилова, Н.Клюева, П.Васильева, В.Шаламова, Я.Смелякова, О.Берггольц, Н.Заболоцкого, Н.Олейникова, Д.Хармса. А в более поздние времена такая судьба ожидала Н.Коржавина, А.Жигулина, И.Бродского и многих других поэтов.

Блок в последнем своём стихотворении говорит, что только пушкинская идея “тайной свободы” может спасти поэзию, оказавшуюся после революции в тяжёлой ситуации:

*Пушкин! Тайную свободу  
Пели мы вослед тебе!  
Дай нам руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе!*

Маяковский, утверждая новую роль нового поэта в новом обществе, считает необходимым для пользы революции отказаться от этой свободы. Но истинный поэт, он не мог существовать без творческой свободы, он не смог бы и никогда не стал бы выполнять задания идеологического Госплана. Он издевался над такого рода руководством литературой:

Лицом к деревне

заданье дано,

за гусли,

поэты-други!

Поймите ж –

лицо у меня

одно –

оно лицо, а не флюгер.

От поэта-приспособленца, поэта-флюгера ничего, кроме халтуры, нельзя ждать. Маяковский с уничтожающей иронией писал, что “управление” литературой приведёт в конечном счёте к ликвидации, упразднению поэзии:

В садах коммуны вспомнят о барде, –

Какие

птицы

зальются им?

Что,

будет

с веток

товарищ Вардин

рассвистывать

свои резолюции?

***Трагическая суть противоречий Маяковского*** в том, что он принял классовые, революционные, а потом советские интересы за высшие, общечеловеческие, за “веленье Божие”. Вот что подталкивало руку поэта, когда “лира его издавала неверный звук”. Зловещий символ – поэт с замком на губах – и выразил то глубинное противоречие в душе и творчестве Маяковского, которое привело его к гибели. Во вступлении в поэму “Во весь голос”, где Маяковский с гордым вызовом заявлял:

Я, ассенизатор

и водовоз,

революцией

мобилизованный и призванный, –

прозвучали трагические строки:

И мне

агитпроп в зубах навяз,

и мне бы

строчить

романсы на вас, –

доходней оно

и прелестней.

Но я

себя

смирял,

становясь

на горло

собственной песне.

Марина Цветаева написала об этом: “Никакой державный цензор так не расправлялся с Пушкиным, как Владимир Маяковский с самим собой... Маяковский... кончил сильнее, чем лирическим стихотворением, – выстрелом. Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил...”

Система отторгала от себя всё то, что ей противоречило, ей были чужды и враждебны яркие индивидуальности, независимость, бунтарство, нелицеприятная правда. Этот конфликт с системой порой воспринимался как разрыв с эпохой. Есенину казалось, что он отстаёт от времени:

|  |
| --- |
| *Какого ж я рожна Орал в стихах, что я с народом дружен? Моя поэзия здесь больше не нужна, Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.* |
| (“Русь советская”) |

Маяковскому тоже стало казаться, что он идёт не в ногу со временем. Стихотворение “Домой!” заканчивалось горькими строками:

Я хочу быть понят моей страной,

а не буду понят –

что ж?!

По родной стране

пройду стороной,

как проходит

косой дождь.

Настроения грустные, а не бездумно-бодрые возникают у Маяковского в 20-е годы. Современная жизнь не представляется ему безоблачной и ясной, не вызывающей вопросов и сомнений.

Тот,

кто постоянно ясен –

тот,

по-моему,

просто глуп,

писал Маяковский в 1925 году в стихотворении “Домой!”. Временами его охватывала присущая ранним стихам вселенская тоска, окружающий мир кажется печально-тоскливым:

|  |
| --- |
| Скучно здесь,  нехорошо  и мокро.  Здесь  от скуки  отсыреет и броня... –  Дремлет мир,  на Черноморский округ  синь-слезищу  морем оброня. |
| (“Разговор на одесском рейде десантных судов: “Советский Дагестан”  и “Красная Абхазия”, 1926) |

***Творчество Маяковского не делится,*** как мы видим, столь просто и прямолинейно на трагическое раннее и новое, советское – сплошь оптимистическое. Реальный Маяковский никак не укладывается в схему, суть которой выразил в статье 1936 года авторитетный в ту пору литературовед И.Луппол: “Октябрьская социалистическая революция вызвала Маяковского к новой жизни, она как бы поставила его на рельсы, с которых он уже не сходил”. Страстное, неотступное стремление в будущее связано у Маяковского с тем, что многое в сегодняшней жизни он не принимал. Он по-прежнему “всей нынчести изгой” (“Про это”, 1923). По-прежнему звучат в его стихах мотивы мировой скорби: “Для веселия планета наша мало оборудована”, “Это время трудновато для пера” (“Сергею Есенину”, 1925). Не оставляет его чувство одиночества:

|  |
| --- |
| Мне скучно  здесь  одному  впереди –  поэту  не надо многого, –  пусть  только  время  скорей родит  такого, как я,  быстроногого. |
| (“Город”, 1925) |

Пронзительно грустны иронические строки в элегическом стихотворении 1925 года “Мелкая философия на глубоких местах”:

Годы -- чайки.

Вылетят в ряд –

и в воду –

брюшко рыбёшкой пичкать.

Скрылись чайки.

В сущности говоря,

где птички?

Я родился,

рос,

кормили соскою, –

жил,

работал,

стал староват...

Вот и жизнь пройдёт,

как прошли Азорские

острова.

Всего тридцать два года было поэту, когда он написал это стихотворение. Мысль об уходящей жизни, предчувствие приближающейся смерти не отпускают его. Они возникают и в стихотворении 1926 года “Разговор с фининспектором о поэзии”:

Машину

души

с годами изнашиваешь.

Говорят:

– в архив,

исписался,

пора! –

Всё меньше любится,

всё меньше дерзается,

и лоб мой

время

с разбега крушит.

Приходит

страшнейшая из амортизаций –

амортизация

сердца и души.

***Вступление в поэму “Во весь голос”*** – это прощание, подведение итогов всей поэтической жизни.

Вечные, не связанные со злобой дня, не диктуемые агитпропом и социальным заказом темы возникали в стихах Маяковского не “по мандату долга”. Они звучали диссонансом в советскую эпоху казённого жизнеутверждения. Тогда требовалось совершенно иное. Вот как формулировал эти требования Николай Тихонов в своём выступлении на I съезде писателей: “Новое человечество отвергло за ненадобностью тему мировой скорби. Мы стремимся стать мастерами не мировой скорби, а мировой радости”.

***Маяковский по природе своей был трагическим поэтом.*** О смерти, о самоубийстве он писал, начиная с юности. “Мотив самоубийства, совершенно чуждый футуристической и лефовской тематике, постоянно возвращается в творчестве Маяковского, – заметил Р.Якобсон в статье “О поколении, растратившем своих поэтов”. – Он примеривает к себе все варианты самоубийства... В душе поэта взращена небывалая боль нынешнего времени”. Вертеровский мотив смерти, самоубийства звучит у Маяковского как вечный, общечеловеческий. Здесь он свободный поэт, нет у него никакой агитационной, дидактической, прагматической цели, он не связан ни групповыми обязательствами, ни полемикой. Стихи его глубоко лиричны, по-настоящему раскованны, в них он действительно рассказывает “о времени и о себе”.

Внутренняя свобода, истинное вдохновение одушевляют стихи Маяковского о любви (они, безусловно, принадлежат к вершинным достижениям любовной лирики XX века), о революции, о поэзии. В этих стихах он большой поэт, “великолепный маяк”, как сказал о нём Е.Замятин, в его творчестве слышен “грозный и оглушительный” гул могучего исторического потока. Такой мощности голос у Маяковского, что, не напрягая его, он обращается к вселенной, к мирозданью:

*Ты посмотри, какая в мире тишь!  
Ночь обложила небо звёздной данью.  
В такие вот часы встаёшь и говоришь  
векам, истории и мирозданью...*

***Самые проникновенные строки Маяковского,*** трагический нерв его поэзии – в великой, опьяняющей мечте о будущем счастливом человечестве, которое искупит все сегодняшние грехи и преступления, о будущем, где бед и страданий не будет. В поэме “Про это” он обращается к учёному, который в далёком будущем сможет воскресить людей, подарить им новую, исполненную счастья жизнь:

Ваш

тридцатый век

обгонит стаи

сердца раздиравших мелочей.

Нынче недолюбленное

наверстаем

звёздностью бесчисленных ночей.

Воскреси

хотя б за то,

что я

поэтом

ждал тебя, откинув будничную чушь!

Воскреси меня

хотя б за это!

Воскреси –

своё дожить хочу!

Энергия и сила упругой, мощной строки Маяковского питается этой верой. Последние написанные им строки – о силе свободного слова, которое дойдёт до потомков через головы правительств:

Я *знаю силу слов, я знаю слов набат,  
Они не те, которым рукоплещут ложи.  
От слов таких срываются гроба  
шагать четвёркою своих дубовых ножек.  
Бывает, выбросят, не напечатав, не издав.  
Но слово мчится, подтянув подпруги,  
звенят века, и подползают поезда  
лизать поэзии мозолистые руки.*

Поистине это “стих, летящий на сильных крыльях к провиденциальному собеседнику” (О.Мандельштам).

\* \* \*

***Каким бы спорным и противоречивым ни представлялось сегодня творчество Маяковского,*** с высоты протекшего времени мы видим правоту тех, кто предрекал ему долгую жизнь в искусстве. Это были самые проницательные и чуткие его читатели-современники и самые авторитетные для нас судьи в поэзии.

Мандельштам включал Маяковского в число тех русских поэтов, которые даны нам “не на вчера, не на завтра, а навсегда” (“Выпад”, 1924). Цветаева тоже считала, что Маяковский – поэт не только своего века, она писала: “Своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу современность и где-то за каким-то поворотом долго ещё нас будет ждать” (“Эпос и лирика современной России”, 1932). Пастернак в очерке “Люди и положения” (1956), процитировав строки двадцатилетнего Маяковского:

*Время!  
Хоть ты, хромой богомаз,  
лик намалюй мой  
в божницу уродца века!  
Я одинок, как последний глаз  
у идущего к слепым человека! –*

заметил: “Время послушалось и сделало то, о чём он просил. Лик его вписан “в божницу века””. Полстолетия, прошедшие с тех пор, как Пастернак сказал это, подтвердили справедливость его слов: Маяковский вошёл в историю века, занял заметное место на русском поэтическом Олимпе.

В.Корнилов в уже упоминавшейся статье “Не мир, но миф”, написанной к столетию Маяковского, признавая, что поэт “велик и неповторим”, всё-таки считает, что “юбилей ни к чему, и в средней школе его изучать тоже ни к чему, во всяком случае ближайшие полстолетия”. Вряд ли это верно. Да, Маяковского изучать ещё трудно, но уже ясно, что изучать историю русской поэзии, минуя, опуская Маяковского, нельзя. Сейчас уже нет сомнений, что Маяковский “устоит”, несмотря на все обвинения и разоблачения. Но изучать его нужно, не затушёвывая его кричащих противоречий, не закрывая глаза на сбои в нравственных ориентирах, на “пустоты”, отделяя подлинную поэзию от стихов, которые при своём рождении уже были не жизнеспособны.

Понять творчество Маяковского, многие его мотивы и образы, его сильные и слабые стороны можно лишь в том случае, если рассматривать его в контексте истории, в широком русле современной ему литературы. Поэтому Маяковский изучается в 11-м классе в рамках общей большой темы – русская поэзия XX века (характерно, что М.Гаспаров в книге “Очерк истории русского стиха” главу о поэзии XX века досоветского периода называет “Время Блока и Маяковского”). Только опираясь на знание учащимися истории литературы, можно в связи с Маяковским основательно рассматривать проблему традиций и новаторства, углубить понимание лирического и эпического в искусстве, проследить, как видоизменяется в XX веке русский стих, какие процессы происходят в области метрики, ритмики, рифмы. Поэзию Маяковского непременно следует вписать в историю русского авангарда (и не только поэзии, но и живописи, театра, музыки, архитектуры).

Анализ творчества Маяковского требует острой постановки вопроса о внутренней свободе художника, о верности его гуманизму. Объективное рассмотрение поэзии Маяковского подтверждает, что время отбирает для долгой жизни лишь те произведения, которые рождены “чувствами добрыми”.

По желанию учителя с поэзией Маяковского учащихся можно познакомить раньше, в 7-м и 9-м классах. В 7-м классе в соответствии с возрастом учеников читаются и рассматриваются два стихотворения: “Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче” и “Хорошее отношение к лошадям”. В 9-м классе – “А вы могли бы?”, “Нате”, “Послушайте”, “Прозаседавшиеся”, “Подлиза”, отрывки из поэмы “Люблю”. Девятиклассники получат уже некоторые представления о жизни поэта, о времени его вступления в литературу, о его темах и настроениях, об особенностях его поэтического голоса. Они могут усвоить первоначальные навыки чтения Маяковского.

***Но только изучая поэта, так сказать,*** “в полном объёме” в 11-м классе, ученики постепенно постигают его поэтический язык. Ведь чем значительнее, чем глубже поэт, тем труднее стать понимающим его читателем. Здесь по степени трудности на первом месте стоит Пушкин. Прав был Мандельштам, когда писал в 1924 году: “Легче провести в России электрификацию, чем научить всех грамотных читателей читать Пушкина” (“Выпад”).

Надо надеяться, что сегодняшний и завтрашний читатель сумеет прочесть Маяковского и полюбит его “живого, а не мумию”.